

Подолинский — Повести и мелкие стихотворения А. Подолинского. Ч. 1. СПб., 1837

Романтическая поэма — Русская романтическая поэма / Сост. и примеч. А. С. Немзера, А. М. Пескова. М., 1985

Русская старина — Русская старина. 1886. Т. 51

Шевченко — Шевченко Т. Зібрання творів: У 6 т. К., 2003. Т. 2.

Примечания:

¹ Единственный известный экземпляр датируется 1827 г.: Институт рукописей НБУ, П, 3453.

² Вестник Европы. 1829. № 6–7. С. 68.

³ Там же был начат «Чернец» с рефреном «У Києві на Подолі».

⁴ О влиянии «Громобоя» на городские тексты (не только киевские) в нескольких ином ключе см.: [Неклюдов]

Алексей Вдовин (Тарту)

Почему Митя читал Писемского? (к интерпретации повести И. А. Бунина «Митина любовь»)

«Неслучайность» упоминания писательских имен в бунинских текстах хорошо известна и исследована в хрестоматийных рассказах¹. Тем более преднамеренными и требующими интерпретации выглядят прямые указания автора на то, какие книги читают или упоминают его герои². Не является исключением и повесть «Митина любовь» (1924), насыщенная отсылками к самым разным прозаическим и поэтическим текстам. На их фоне неожиданно появляется имя А. Ф. Писемского, интригующее и до сих пор как следует не объясненное³. Появляется оно в кульминационной сцене — перед роковым «падением» Мити. Однако перед тем как обратиться к интерпретации эпизода, необходимо кратко охарактеризовать интертекстуальный пласт повести⁴.

1

Чтение — сквозной мотив «Митиной любви». Стихи, которые читает Митя или декламирует Катя, постоянно «подсвечивают» и прогнозируют сюжет повести. В первом же разговоре двух молодых людей искусство, которому фанатично предана возлюбленная Мити, приобретает ореол таинственной и роковой силы, вытесняющей любовь и определяющей судьбу героев. Идя по Тверскому бульвару, мимо Пушкина, Катя читает «Кольцо» Бальмонта («Меж нами дремлющая тайна...»), и Митю неприятно корбит от этих строк, которые символизируют враждебную богемную среду, «отнимавшую у него Катю» (333)⁵. Стихотворение своего любимого (и не любимого Буниным) Блока «Девушка пела в церковном хоре...» Катя декламирует на экзамене, для Мити оно звучит так же пошло и неестественно. В строках Бальмонта и Блока еще нет ощущения трагической развязки любовных отношений. Оно появляется с приходом студента Протасова, который не только называет Митю «Вертером из Тамбова», но и уподобляет его

юнkerу Шмидту из прутковской пародии, задающей, вкупе с Гете, тему самоубийства на интертекстуальном уровне. (Нельзя исключать здесь и отсылки к пуганой судьбе толстовского Феди Протасова, совершающего в «Живом трупе» сразу два самоубийства — фиктивное и настоящее.) Любовь приносит смерть и в романсе А. Рубинштейна на стихи Гейне «Азра», который слышит Митя («Я из рода бедных Азров, / Полюбив, мы умираем...», 341)⁶.

Такая интертекстуальная инструментовка отражает книжное представление о любви, через которое Митя пытается определить свое чувство к Кате:

Ответить на это было тем более невозможно, что ни в том, что слышал Митя о любви, ни в том, что *читал он о ней* (здесь и далее курсив мой. — А. В.), не было ни одного точно определяющего ее слова. *В книгах и в жизни все как будто раз и навсегда условились говорить или только о какой-то почти бесплотной любви, или только о том, что называется страстью, чувственностью.* Его же любовь была непохожа ни на то, ни на другое (338).

Среди книжных вариантов точного соответствия Митиным переживаниям не находится, но две их крайности — платоническое чувство и плотская страсть — становятся полюсами, обозначенными литературными подтекстами. В московских главах (враждебное Мите пространство) фигурируют тексты символистской и зарубежной поэзии (Прутков — исключение), создающие атмосферу таинственной и возвышенной любви. В деревенских («орловских») главах ситуация как будто меняется. Родное, материнское пространство вызывает в Мите исключительно плотские ассоциации, казалось бы, совершенно несовместимые с олитературенной Москвой:

Митя подумал о девках, о молодых бабах, спящих в этих избах, обо всем том женском, к чему он приблизился за зиму с Катей, и все слилось в одно — Катя, девки, ночь, весна, запах дождя, запах распаханной, готовой к оплодотворению земли, запах дождя, запах лошадиного пота и воспоминание о запахе лайковой перчатки (344).

Между тем и в родной усадьбе Митя постоянно читает⁷, в том числе стихи о любви, но теперь «классические» (и в какой-то степени «орловские»). Это Фет («Люди спят, мой друг, пойдем в тенистый сад!..»; «Роза») и, конечно, Тургенев (поэма «Призвание»), влияние прозы которого ощутимо в «деревенских» главах «Митиной любви»⁸. Однако и в идиллический мир проникают воспоминания о божественной жизни Кати, а вместе с ними — чужеродные тексты. Мите слышится песня Гете «Фульский король»,

в которой королю приходит погибель, как только он кидает в волны кубок, оставленный ему возлюбленной. Здесь впервые возникает мысль о самоубийстве. В устах старосты (и это важно) книги противопоставляются полноценной жизни: «Что ж, барчук, книжка хороша, да на все время надо знать. Что ж вы монахом-то живете? Ай мало баб, девок?». И далее:

«„Застрелось!“ — подумал Митя твердо, глядя в книгу и ничего не видя» (361), — не ясно, что именно читает герой в этот момент, равно как и в другом эпизоде:

...всячески стараясь не думать о Кате, всячески ища спасения от нее, он опять стал *читать что под руку попадется* (364).

Что попадает под руку Мите, становится ясно в XXVI главе, где герой «брал с письменного стола *уже давно валявшийся* на нем том Писемского, читал, *не понимая ни слова*, подолгу смотрел в потолок» (375). Таким образом, после соблазнительного предложения старосты, когда с Митей начинают заигрывать Сонька и Параша, он читает именно Писемского, хотя прямо об этом не говорится. Только в роковой день свидания с Аленкой и Митино «падения» выясняется, что в руках у героя томик Писемского. Причем попытка переменить книгу и вернуться к стихам из старых журналов проваливается:

К черту! — подумал он с раздражением. — К черту весь этот *поэтический трагизм любви*. <...>

<...> и опять лег и *опять взялся за Писемского*. Но по-прежнему он **ничего не понимал**, читая, а порою, глядя в книгу и *думая об Аленке*, весь начинал *дрожать от все растущей дрожи в животе* (375).

«Дрожь в животе» как синоним страстного томления и антоним «поэтического трагизма» связывается с прозой Писемского. Митя уже не в состоянии понимать содержание прочитанного, ведь вождление подавляет разум.

Но почему он читает именно Писемского?

2

Репутация Писемского на рубеже XIX–XX вв. была обусловлена уже выходом его самого скандального «антинигилистического» романа «Взбаламученное море» (1863). Персонажи романа воспринимались критикой как средоточие «цинизма и примитивности, а их автор — как образец пошлого и грязного писателя» [Зубков 2007: 97], реакционера, который к началу XX в. ока-

зался «унижен, забит и почти забыт» [Кирпичников 1903: 115]. Из всего Писемского рядовой читатель помнил, пожалуй, только «грязь и мерзость» изображаемой в его романах жизни и обилие «клубники». «Столько «клубники», сколько ее во «Взбаламученном море» <...> положено, не во многих русских произведениях найдешь», [Венгеров 1911: 100, 191]. Несмотря на это почти все исследователи начала XX в. признавали за Писемским выдающийся талант художника.

Молодой Бунин высоко ценил Писемского, хотя сведений об этом крайне мало. Самое раннее высказывание Бунина о Писемском — рецензия в «Орловском вестнике» (1890) на постановку «Горькой судьбины». Бунин, критикуя афишу за безграмотность, замечает, что пьеса не нуждается в таких бездарных разборах [Бунин 2004: 414–415, сноски]. Писемский упомянут в полемических «Литературных заметках» («Слово», 1922). Бунин рассуждает о совершенно несправедливом зачислении в «реакционеры» таких писателей, как Батюшков, Жуковский, Тютчев, Лесков, Писемский, Островский и др. Через два года эта мысль повторена Буниным в заметке «Записная книжка» [Бунин 1998: 146, 227]. В 1920-е гг. в советской России Писемского почти не издают (в 1923 г. вышла только «Горькая судьбина», в 1926 г. — рассказ «Батька»), и за Писемским закрепляется репутация реакционного автора. Между тем в 1900-е вышло два собрания сочинений писателя — в 1910–11 гг. в качестве приложения к «Ниве» в издательстве Маркса и в 1912 г. в издательстве Вольфа, с которыми Бунин был, скорее всего, знаком⁹.

Утверждать это можно гипотетически, т. к. ни в дневниках, ни в переписке Бунина чтение Писемского не зафиксировано. Отсюда можно предположить, что особого интереса к нему Бунин, видимо, не испытывал, но имел о нем представление, характерное для восприятия этого писателя в начале XX века. Когда Бунину потребовалось подобрать книгу, которая отражала бы сладострастное томление героя, ему вспомнился Писемский. Изображение любви у Писемского часто весьма натуралистично, не раз в его прозе возникает ситуация связи барина с крестьянкой. Тут должно вспомнить не только прекрасно известную Бунину «Горькую судьбину» (любовь Чеглова-Соковина и Лизаветы), но и последний роман «Масоны» (1880). Как отмечалось исследователями, драматическая история любви Валериана Ченцова, застрелившегося от разлуки с крестьянкой Аксюткой, могла повлиять на сюжет «Митиной любви» [Гимашова 2005: 226]¹⁰.

К этому ряду сходжений следует добавить эпизод, переключившийся с изображением Митино падения. Речь идет о соблазнении молодым баринцем Александром Баклановым крепостной девушки Маши в романе «Взбаламученное море» (2 часть, гла-

ва 8 «Что прежде всего»). Студент Бакланов, так же как и Митя, возвращается в родное имение, чтобы найти успокоение от разрыва с любимой девушкой Софи Леневой. Здесь вокруг него мать, молодой лакей Петруша и многочисленные крепостные девушки. Бакланов просит Петрушу подыскать ему какую-нибудь из них:

— Может, другой здесь дичи много! — проговорил Александр и посмотрел на Петрушу.

Тот тоже на него посмотрел.

— Что в юбках-то ходят, — прибавил Александр.

Петруша усмехнулся и почесал себя за ухом.

— Пожалуй, что добра этого есть немало. <...>

— А кто же у нас получше?.. которая?.. — продолжал он спрашивать [Писемский 1910: 227–228].

Таковой оказывается дочь скотника Маша.

На другой день он целое утро ходил около гумна и видел, что Маша, действительно, сидит там одна на пруде, но подойти к ней он не решался и, сев на прилавок у избы, любовался на ее еще не совсем сформировавшийся стан, на загорелую шею, на тонкое колено, обогнутое выбойчатым сарафаном [Писемский 1910: 229].

Поначалу Маша, опасаясь гнева барыни, боится идти на свидание, но потом, подавшись на уговоры и угрозы Петруши, приходит в лесок:

Он <Бакланов. — А. В.> ее прямо взял за обе руки.

— Вот и прекрасно! — бормотал он задыхающимся голосом.

Маша только и говорила:

— Ой, ой, нет! Ой, чтой-то, ой!

В следующие затем свидания Бакланов старался дать ей некоторую свободу и простор перед собой.

— Любила ли ты кого-нибудь кроме меня, Маша? — спрашивал он.

— Нету-ка... Ничего я еще того не знаю, — отвечала она.

— А меня любишь?

— Вас, известно, жалею.

«Что за дурацкое слово: жалею», — подумал Александр¹¹ [Писемский 1910: 230].

Соблазнением Маши амурные похождения героев Писемского не ограничиваются. Прелести и последствия развратной деревенской жизни ярко обрисованы, например, в образе Ионы Циника — «учителя» Бакланова по части плотских утех, а любовные

приключения главного героя как будто почерпнуты из авантюрного романа.

Кажется маловероятным, что Бунин в «Митиной любви» пытается пересмотреть сложившуюся репутацию Писемского (судя по дневникам, он в это время вообще крайне скуп на похвалы другим писателям). Скорее (и в этом можно согласиться с О. В. Тимашовой [Тимашова 2005: 229]), он полемически привлекает внимание к забытому писателю, подчеркивая такую существенную особенность его прозы, как натурализм и откровенность в изображении любви, чему не чужд был и сам. Таким образом, помимо повести Толстого «Дьявол»¹², из которой Бунин, если верить его собственным словам, прочел только «первую страницу» [Неизвестные письма: 153], эпизод «Взбаламученного моря» следует признать возможным сюжетным источником «Митиной любви»¹³.

Важнее, однако, выяснить, дает ли что-то этот претекст для понимания повести. Как представляется, он побуждает еще раз обратиться к теме чтения и, шире, литературности поведения в «Митиной любви».

Митя (*tabula rasa* в любви), движимый «пробуждением пола» (Ф. Степун), стремится к обладанию Катей, но в то же время это желание кажется ему омерзительным. Книги являются для Мити в одно и то же время собеседником, «старшим товарищем» и сдерживающим оплотом против его собственного влечения и циничных подстрекательств старосты. Сюжет повести строится, в том числе, на постоянном соотношении Митиных чувств и разных литературных вариантов любви, на метаниях героя между жизнью и книгой, а на уровне чтения — между текстами о «бесплотной» любви и текстами о любви плотской¹⁴.

Исходя из этого, отказ Мити от чтения стихов перед свиданием с Аленкой и выбор Писемского можно интерпретировать как предпочтение жизни во всей полноте чувственных ощущений. В этом смысле значимо, что Митя, читая Писемского, не понимает ни строчки, поскольку власть пола подавляет его рассудок. Парадокс, однако, в том, что Митя, как ему кажется, отдавая предпочтение жизни (в лице Аленки), все равно следует книжному сюжету и «цитирует» Писемского. Эта тотальная литературность жизни в художественном мире повести, как кажется, усложняет ее важнейшую коллизию, названную Ф. А. Степуном «неизбывн [ой] тяжесть [ю] безликого пола, тяготеющ [его] над лицом человеческой любви» [Степун 2001: 377]. Ситуация в повести, по-видимому, намного сложнее и не может исчерпываться только конфликтом пола и любви или «неполнотой одной только плотской любви» [Терапиано 1953: 209]. В конечном счете, фатальное раздвоение любви на плотскую и одухотворенную задано в Митином сознании именно литературой и поддержива-

ется по ходу повествования соответствующими текстами, программирующими его смерть.

Таким образом, литература и искусство в «Митиной любви», выступает посредником в отношениях пола и разума, пола и любви; медиатором, способным оказывать как губительное, так и спасительное воздействие. В связи с этим возникает вопрос, как это соотносится с концепцией любви в других не менее известных бунинских текстах. Но это тема уже другой статьи¹⁵.

Литература:

- Адамович 1926: *Адамович Г. В.* <«Митина любовь» Бунина> // И. А. Бунин: pro et contra. СПб., 2001. С. 362–364.
- Афанасьев 1966: *Афанасьев В. Н.* Повесть Бунина «Митина любовь» // Известия. АН СССР. Серия литературы и языка. 1966. Т. 25. Вып. 3. С. 209–217.
- Бицилли 2000: *Бицилли П. М.* Бунин и его место в русской литературе // Бицилли П. М. Трагедия русской культуры: Исследования, статьи, рецензии. М., 2000. С. 418–423.
- Блюм 2001: *Блюм А. В.* Из бунинских разысканий. I. Литературный источник «Грамматики любви» // И. А. Бунин: pro et contra. СПб., 2001. С. 678–680.
- Бунин 1988: *Бунин И. А.* Собр. соч.: в 6 т. М., 1988. Т. 4.
- Бунин 1998: *Бунин И. А.* Публицистика 1918–1953. М., 1998
- Бунин 2004: И. А. Бунин. Новые материалы. М., 2004. Вып. I.
- Венгеров 1911: *Венгеров С. А.* Писемский // Венгеров С. А. Собр. соч.: в 5 т. СПб., 1911. Т. 5.
- Зубков 2007: *Зубков К.* Роман А. Ф. Писемского «Взбаламученное море»: восприятие современников и история текста // Озерная текстология / Труды IV летней школы на Карельском перешейке по текстологии и источниковедению русской литературы Пос. Поляны (Уусикирко) Ленинградской области, 2007. С. 97–109.
- Кирпичников 1903: *Кирпичников А. И.* Очерки по истории новой русской литературы: в 2 т. М., 1903. Т. 1.
- Лекманов 2002: *Лекманов О. А.* Из комментария к «Легкому дыханию» // Литература. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября». 2002. № 10. С. 4; см. также: <http://lit.1september.ru/articlef.php?ID=200201005>.
- Муромцева-Бунина 2007: *Муромцева-Бунина В. Н.* Жизнь Бунина. Беседы с памятью. М., 2007
- Неизвестные письма 1961: Неизвестные письма Бунина / Публ. А. Мещерского // Русская литература. 1961. № 4. С. 152–158.
- Писемский 1910: *Писемский А. Ф.* Полн. собр. соч.: в 8 т. СПб., 1910. Т. 4.
- Степун 2001: *Степун Ф. А.* Литературные заметки: И. А. Бунин (по поводу «Митиной любви») // И. А. Бунин: pro et contra. СПб., 2001. С. 365–385.
- Терапиано 2002: *Терапиано Ю. К.* «Митина любовь»: (Перечитывая Бунина) // Терапиано Ю. К. Встречи. 1926–1971. М., 2002. С. 207–210.
- Тимашова О. 2005: *Тимашова О.* Традиции А. Ф. Писемского в прозе А. П. Чехова и И. А. Бунина (значение и функции цитирования) // Молодые исследователи Чехова. 5: Материалы международной научной конференции (Москва, май 2005 г.). М., 2005. С. 220–229.

- Шкловский 2000: Шкловский В. О красоте природы // Шкловский В. Б. Гамбургский счет. СПб., 2000. С. 160–163.
- Юрченко 1998: Юрченко Т. К генеалогии «Легкого дыхания» // Новый журнал. Нью-Йорк, 1998. Кн. 212.

Примечания:

- ¹ См. например: [Лекманов 2002].
- ² Поиски книг, упомянутых героями «Легкого дыхания» и «Грамматики любви», увенчались успехом [Юрченко 1998; Блюм 2001].
- ³ Единственная работа об этом: [Тимашова 2005].
- ⁴ Частично он прокомментирован В. Афанасьевым [Афанасьев 1966] и А. Саакянц [Бунин 1988: 686–689].
- ⁵ Повесть цитируется по изданию: [Бунин 1988]; страницы указываются в скобках.
- ⁶ Об этом романсе см.: [Муромцева-Булнина 2007: 127].
- ⁷ «Он сидел с книгой возле открытого окна гостиной» (349); «Он сидел в библиотеке, перелистывал журналы, уже десятки лет желтевшие и сохнувшие в шкафах. В журналах было много прекрасных стихов старых поэтов, чудесных строк» (352).
- ⁸ На влияние Тургенева первым указал В. Шкловский в статье 1927 г.: [Шкловский 2000: 160, 163].
- ⁹ Как мог он быть знаком и с посмертным полным собранием 1883–1886 гг. или собранием 1895–96 гг.
- ¹⁰ Точные наблюдения исследователь резюмирует, однако, странным образом, утверждая, что «Писемский „нужен“ становится там, где речь идет об апофеозе любви — не о пошлости» [Тимашова 2005: 226]. Это, на наш взгляд, резко противоречит бунинскому тексту.
- ¹¹ В первом издании романа податливость Маши была обозначена яснее: «Маша стыдливо, но ласково смотрела на него»; цит. по: [Зубков 2007: 99].
- ¹² На это указал первый все тот же В. Шкловский (1927), а не П. Бицилли (1936).
- ¹³ К теме «Бунин и Писемский» имеет смысл присмотреться внимательнее. На это косвенно указывал еще П. М. Бицилли, говоря о взаимодействии бунинской прозы с беллетристикой XIX в. и особо выделяя в этой связи Лескова и Писемского [Бицилли 2000: 419–420].
- ¹⁴ Среди текстов о любви романтической явно прослеживается разница между «темными» декадентскими стихами и классически ясной лирикой XIX века. Правомерно видеть в этом проявление бунинской литературной позиции как консервативной и враждебной декадансу и символизму. Именно так «прочитал» отношения «простого мальчика» Мити и божественной Кати Г. Адамович [Адамович 1926: 363–364].
- ¹⁵ Глубоко признателен О. А. Лекманову за ряд важных замечаний.

Rein Veidemann (Tallinn)

Piibel kui eesti kirjanduskultuuri arhetekst*

Eesti kirja (ndus) kultuuri algus on paradoksaalne ja eripärane. Esimeseks eestikeelseks, täpsemalt alamsaksa-eestikeelseks trükiseks oli sakraaltekst — 1535 Wittenbergis Hans Luffti trükikojas trükitud Martin Lutheri katekismus. Kuna tegemist oli ühe koguteose kõite täitematerjaliks kasutatud üksikute lehtedega, siis saame rääkida sellest nõ eesti esmaraamatust kui fragmentariumist. Eesti keel antud raamatu puhul oli sihtkeel, st tegemist polnud eestikeelse algupärandiga. Lisaks fragmentaarsusele, tõkkelisusele iseloomustab raamatu kultuuri Eestisse jõudmise algust veel raamatu ärakeelamine Tallinna rae poolt „mitte just väheste vigade tõttu“ — sellesama rae poolt, kes ise oli katekismuse koostamise ning tõlke tellija — ja hävitamise korraldus [Johansen, Weiss: 210].

Tähelepanu väärib seegi tõik, et katekismuse olemasolu avastati ligi nelisada aastat hiljem selle trükkimisest tänu juhuslikult õnnelikele leiule. Nimelt oli humanistliku kirjanduse läbivaatamisel Eestimaa Kirjanduse Ühingu raamatukogus sattunud raamatukoguhoidja Hellmuth Weiss novembris 1929 Wittenbergi, Strassburgi ja Kölni trükiseid sisaldavale koguteose kõitele, mille kaanetäidiseks oli kasutatud teise raamatu voltimata poognaid. Ükski trükise säilinud üheteistkümnest lehest polnud terviklik, kuid ühel neist, raamatu lõpuleheküljel leidis peaaegu vigastamatult trükkija nimi, koht ja aeg [Johansen, Weiss: 205]. Tallinna rae kohtuotsuste 1537. aasta 17. juuli sissekande põhjal avanes võimalus välja selgitada ka katekismuse koostaja magister Simon Wanradti ja tõlkija pastor Johann Koelli nimed [Johansen, Weiss: 210]. Sealtpaale tuntaksegi eesti esimest raamatut Wanradt-Koelli katekismusena.

On teada seegi, et raamat oli siiski jõudnud Tallinnas levida umbes kaks kuud, enne kui tuli selle keelamise ja hävitamise käsk. Eesti vanema raamatu ajaloo üks tunnustatud uurijatest Voldemar Miller on aga kirjutanud, et veel 19. sajandi lõpul oldi kindlad, et esimesed eestikeel-

* Essee on valminud ETF granti 7454 „Eesti (kirjandus) kultuuri oikumeeniline aspekt“ raames.